

Литературная запись

ПОЛЕТЪ ВЪ ЕВРОПУ

I

Надо, прежде всего, воскреснуть.

Двадцать лѣтъ непрерывнаго взглядыванья въ литературу, оцѣнки писателей, старанья выразить то, что видишь; двадцать лѣтъ критической работы... и затѣмъ, съ начала 18-го года, конецъ. Нѣтъ не только меня (что — я?), нѣтъ литературы, нѣтъ писателей, нѣтъ ничего: темный проваль.

Я говорилъ не разъ, прежде, что въ Россіи мало существуетъ «литература» (въ западномъ понятіи), существуютъ, главнымъ образомъ, писатели. Что у насъ есть отдѣльныя, крупныя личности, а общность литературная, лицо литературы, смутно, сложно, неопредѣленно.

Теперь вижу: я ошибался. Теперь вижу — нѣтъ, была и «литература», была общая чаша, громадная, полная... чѣмъ? драгоценными камнями? Цѣнными во всякомъ случаѣ. Разной цѣнности. Отъ алмаза до скромнаго аквамарина. Даже еще проще попадались камушки.

Дѣло критиковъ было разбираться въ этомъ богатствѣ, отмѣчать цѣнность и мѣсто всякаго камня. Мы это усиленно и дѣлали. Если находили совсѣмъ негодный бульжничекъ — старались его удалить.

Такъ было. Пока не пришли новыя времена.

Сначала прихлопнули насъ всёхъ темной, тяжелой крышкой. Наступила — смерть не смерть — смертная тишина.

Но слишкомъ велика была чаша російской литературы; мѣшала *тамъ* и подъ крышкой. Сокровище — да; но такое, что нельзя его ни продать, ни обмѣнять; да еще сторожить надо усиленно — а это дорого. Уничтожить? пробовали, — очень ужъ долгая исторія. И чашу русской литературы изъ Россіи выбросили. Она опрокинулась, и все, что было въ ней — брызгами разлетѣлось по Европѣ.

Погибло? Пропало? Разбилось? Ну, разбивается только стекло. О немъ и не забота. Установимъ пока первое данное: русская современная литература (въ лицѣ главныхъ ея писателей) изъ Россіи выплеснута въ Европу. Здѣсь ее и надо искать, если о ней говорить. Что съ кѣмъ случилось послѣ встряски, удара, полета?

Можетъ быть, неслыханное испытаніе и не такъ бесполезно для русскихъ писателей. Во всякомъ случаѣ для критика, если онъ самъ уцѣлѣлъ, во время пришелъ въ себя и можетъ оглядѣться вокругъ, — оно полезно: вѣрнѣе цѣнишь, яснѣе видишь... и писателей, и свои собственные ошибки. Развѣ не случалось намъ звать искусствомъ то, что затѣмъ на глазахъ развѣялось пылью? И не надѣялись ли мы порою на художника, который, когда буря сорвала съ него одежды, оказался просто ничтожествомъ?

За то вдвое, во сто разъ дороже и цѣннѣе испытаніе выдержавшій; тотъ, кто продолжаетъ свое дѣло на чужбинѣ, безъ родины, безъ земли, — почти безъ тѣла; если даже раны его незалечимы — творчество его бессмертно...

Оставимъ, однако, лирику. Посмотримъ просто, что дѣлается съ нашей литературой въ Европѣ.

Въ Европѣ... не въ Россіи. Что *сдѣлали* въ Россіи съ русскими писателями — мы видѣли, а что *дѣлается* съ немногими, подлинными, тамъ еще остающимися, я

не знаю (конечно, зналъ-бы, еслибы, чудомъ, наперкорь разсудку и вопреки стихіямъ, тамъ кто нибудь расцвѣлъ, какъ Аароновъ жезлъ). Тамъ, изъ старыхъ, все время дѣйствовали, — да и по сію пору, кажется, писателями считаются, — Ясинскій и Луначарскій, а третій — Брюсовъ. Но первые два, какъ не были въ литературѣ, такъ и остались внѣ ея. Луначарскій всячески пытался объявить себя Гете: по декрету — не вышло; Фауста своего нангсаль (рабочаго) — тоже ни черта; теперь махнулъ рукой и просто живетъ — неразвѣнчаннымъ Хлестаповымъ. Брюсовъ въ литературѣ былъ, но автоматически из нея выпалъ. Последніе стихи этого, когда-то талантливаго, человѣка возбуждаютъ лишь удивленіе и непріятную жалость.

Изъ живыхъ, тамъ погребенныхъ, — Сологубъ. Но онъ долженъ былъ пріѣхать сюда три года тому назадъ. Наканунѣ отъѣзда трагически погибла его жена. Съ этихъ поръ мы не должны говорить о «жизни» Сологуба; съ этихъ поръ начинается его «житіе».

Какое имя ни вспомнишь — всё здѣсь. Последній по времени «европеецъ» — Арцыбашевъ. Извѣстное писательское «цѣломудріе» еще не позволяетъ ему отдалиться, что называется, чисто «художественному творчеству». Но съ какой силой, съ какимъ блескомъ заговорилъ онъ послѣ пятилѣтняго молчанія! Каждая критическая статья его — воистину «художественное» произведеніе. Онъ покуда въ Варшавѣ (Польша вѣдь тоже нынѣ въ нѣкоторомъ родѣ «Европа»), и печатается въ маленькой мѣстной газетѣ «Свобода»... Я съ грустью (и съ нѣкоторымъ ужасомъ) думаю, что вырвавшійся изъ плѣна Арцыбашевъ только въ этой «Свободѣ» и могъ обрѣсти свободу слова... Попади онъ сразу къ намъ, въ гущу эмигрантской прессы, его-бы укротили. Художникамъ не полагается писать статей. По нынѣшнимъ временамъ всякая статья — «политика» (и правда, никакъ не увернешься, разъ заговорилъ просто по-человѣчески). Беллетристу-же

у насъ, въ данную минуту, дозволяется знать свою беллетристику, а дальше чтобы ни ногой.

Арцыбашевъ — настоящій художникъ. У него очень неровный, со срывами, но сильный талантъ. До сихъ поръ помнится мнѣ его давняя, острая и глубокая вещь — «Смерть Ланде». Но Арцыбашевъ не только художественный писатель, онъ какъ-то весь талантливъ, самъ; не художникъ-беллетристъ, а и художникъ-человѣкъ. Поэтому я и говорю о несомнѣнной *художественности* его статей. У насъ же «художество» сейчасъ загнуто въ рамки «беллетристики», иного мѣста ему не полагается. Это печальная дѣйствительность, но это, конечно, минуетъ. Пока же я радуюсь, что Арцыбашевъ нашелъ свободу хоть въ этой маленькой, малочитаемой «Свободѣ».

«Очистивъ» Россію отъ современной русской литературы, отъ Арцыбашевыхъ, Бувиныхъ, Мережковскихъ, Куприныхъ, Ремизовыхъ и т. д. и т. д., распорядители, (какъ мы знаемъ) нынѣ принялись за коренное очищеніе ея и отъ всего русскаго литературнаго наслѣдія. Кстати и вообще отъ литературы, отъ всего, что имѣетъ отношеніе къ культурѣ духа. Не имѣя возможности уничтожить или выбросить писателей, которые уже умерли, они принуждены ограничиться дѣятельнымъ физическимъ уничтоженіемъ ихъ книгъ. Русскимъ извѣстно, какія сотни авторовъ числятся въ спискѣ г-жи Крупской: по ея декрету книги велѣно отыскивать, отбирать и отправлять на бумажную фабрику. Русскимъ извѣстно, что въ спискѣ этомъ и Толстой, и Достоевскій... да кстати и Платонъ, вплоть до его біографіи. Иностранцамъ же объ этомъ мы не говоримъ, не стоитъ, все равно не повѣрять.

Земля пустыня; ни травинки, все срѣзано; и вотъ, судорожно еще роятся въ ней черные ногти, нащупываютъ, вырываютъ корни, чтобы ужъ и корней не осталось, памяти не осталось, чтобы не тургеневская Финстерархорнъ, а кремлевская дама Крупская могла сказать: «хорошо! совсѣмъ чисто!».

Трудно, при этихъ обстоятельствахъ, говорить мнѣ о литературѣ въ Россіи.

Могъ бы я, пожалуй, вспомнить объ яйцахъ, изъ которыхъ «очистители» пытались одно время высидѣть «собственную» литературу. Но я хочу говорить объ искусствѣ, объ эстетикѣ; изъ яицъ-же вылупились такіе непристойные гады, что певмѣстно мнѣ ихъ на сей разъ касаться. Замѣчу лишь, кстати, что ничего иного изъ «собственныхъ» яицъ и не могло вылупиться. Неужели никому не приходило въ голову, оставивъ въ сторонѣ всякую «политику», все ужасы, разрушенье, удушенье, кровь (это тоже зовется «политикой»), взглянуть на происходящее въ Россіи и на совѣтскихъ повелителей *только* съ эстетической точки зрѣнія? Въѣ «правды и добра» — исключительно подъ угломъ «красоты?». Попробуйте. Если насчетъ всѣхъ прочихъ сторонъ («политика») еще могутъ найтись спорщики, то ужъ тутъ безспорно: никогда еще міръ не видалъ такого полного, такого плоскаго, такого смраднаго — *уродства*.

«... Земля впервые имъ оскорблена»...

II

Можетъ показаться страннымъ, что наша литература, на новыхъ мѣстахъ, за шесть лѣтъ, дала сравнительно мало новаго.

Но это не странно. Я упомянулъ выше о «писательскомъ цѣломудріи». Есть, дѣйствительно, кромѣ общечеловѣческихъ, еще специально-писательская честность и писательское цѣломудріе. На мой-то личный взглядъ человѣкъ съ писателемъ такъ слиты, что и не разрѣжешь ихъ никакимъ ножомъ; однако я, по многимъ причинамъ, на этомъ сейчасъ не настаиваю и говорю только о честности и цѣломудріи специфически-писательскихъ. (Последнее свойство можно, съ нѣкоторой натяжкой, назвать и «вкусомъ»).

Какъ общее правило: чѣмъ больше и ярче талантъ, — тѣмъ больше у писателя и художественной честности, и цѣломудрія. Вотъ одно изъ объясненій почему наиболѣе сильные, крупные, художники дали за эти шесть лѣтъ меньше новаго, чѣмъ дали бы безъ катастрофы, — не личной, даже не литературной, сейчасъ не объ этомъ говорю, — но безъ катастрофы обще-россійской. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, выдумывать, когда честность подсказываетъ, что всякая выдумка будетъ блѣднѣе дѣйствительности? Да и о какихъ людяхъ писать, а главное — о какой жизни, если всякая жизнь разрушена, а лица людей искажены? Но и это не все. Смыкаетъ уста и «цѣломудріе». Есть-ли поэтъ, который будетъ писать стихотвореніе у еще теплой тѣла матери? А ощущеніе умершей или умирающей Россіи носилъ въ себѣ долго каждый русскій писатель; пожалуй и теперь носить, на самомъ днѣ души.

Обычно писатель, измѣняющій цѣломудрію, наказанъ въ самомъ творествѣ своемъ: никогда еще не появлялось *художественнаго* произведенія о войнѣ — во время войны, или о революціи во время революціи.

Но можно говорить о прошломъ... Къ этому и приходятъ мало-по-малу русскіе писатели, оправляясь отъ пережитаго: вѣдь они все таки писатели, и не даромъ же не погибли.

Ив. Бунинъ — безъ сомнѣнія первый, въ современности, художникъ-беллетристъ. Очень много у него и честности писательской, и цѣломудрія, и самаго тонкаго вкуса. Онъ долго молчалъ. Ему, по индивидуальному свойству таланта, трудно писать о прошломъ. Онъ весь видимый, осязательный, — настоящій. И теперь, когда онъ пишетъ о минувшемъ, — до волшебнаго обмана претворяетъ онъ его въ живое, сейчасъ: возвращаетъ время на круги свои. Все тотъ-же Бунинъ, только, если можно, сталъ онъ еще строже, еще собраннѣе, упругій стиль — совершеннѣе. Современная наша литература

и въ Европѣ сохранила своего російскаго премьера.

Но и я, въ Европѣ, воскресая съ прежней моей критической непристрастностью, съ постояннымъ стремленіемъ къ точности. Я не «хваляю» Бунина (никого я не «хваляю» и не «браню»), я его опредѣляю, какъ опредѣлялъ и много лѣтъ тому назадъ. Радуюсь, что и тогда не ошибался. Но кое-что къ моимъ опредѣленіямъ я еще прибавлю.

Бунинъ — «не милосерденъ» къ своему читателю; онъ не «учитъ» его, когда бьетъ, а просто бьетъ, какъ что и убьетъ — не замѣтитъ. Это происходитъ оттого, что Бунинъ *слишкомъ* художникъ. Оттого, что, рисуя картину, онъ даетъ ей черезчуръ полное подобіе жизни, вдвигаетъ въ нее читателя, заставляетъ въ ней жить чувственно, какъ въ собственномъ моментѣ реальной жизни... и переживаетъ такъ-же отрывочно и слѣпо, какъ обывало люди переживаютъ дни своей жизни. Почти сонъ... иногда тяжелый, иногда веселый, а то страшный, будто кошмаръ... Если выйдешь изъ него, не умрешь, то остается чувственное воспоминаніе, чувственная радость, что прошло... и только. Такова сама жизнь. Таковъ чистый художникъ жизни — Бунинъ. Онъ даетъ куски жизни, и не только не даетъ *смысла* ея (кто могъ его дать?), но онъ — въ своихъ произведеніяхъ, — и самъ доселѣ не искалъ его, и почти не позволялъ искать другимъ. Хорошо это или плохо? Не знаю, этимъ вопросомъ сейчасъ не занимаюсь. Также не знаю, въ хулу или похвалу Бунину и послѣднее мое наблюденіе, почти догадка, почти предчувствіе: въ новыхъ его вещахъ, — вотъ въ этихъ до боли сжатыхъ, можетъ быть не въ словахъ, — а въ молчаніяхъ за словами, — есть новая боль, новое воздыханіе. Есть жажда, пусть пока несознанная, найти какой-то синтезъ своего творчества.

Ошибаюсь-ли я — скажетъ время, а пока пойдемъ дальше собирать камушки русской — нынѣ европейской — литературы.

Какъ ихъ много! Нѣкоторые для меня новы, будто и заблестѣли только здѣсь. Вотъ, напримѣръ, молодой писатель Алдановъ. Откровенно пишетъ о прошломъ, о далекомъ прошломъ, историческіе, европейско-русскіе романы. Жанръ недоступный хотя-бы и Бунину, потому уже, что въ Алдановѣ напололамъ и Европы и Россіи, а Бунинъ костью, плотью, кровью — российский; воистину «писатель земли русской».

У Алданова — хорошій живой языкъ, умная, культурная манера. Архитектура, строеніе романа, ему еще не дается; но у него положительно есть чувство мѣры (какая рѣдкость въ русскомъ писателѣ!) и, можетъ быть, это типъ романиста, котораго не хватало нашей литературѣ.

Я былъ бы, однако, не точенъ и несправедливъ, если-бъ умолчалъ о двухъ вещахъ: первая — впечатлѣніе какой-то разрѣженности отъ Алдановской беллетристики. Это, впрочемъ, неопредѣлимое впечатлѣніе; вторая вещь яснѣе и важнѣе. Алдановъ тенденціозенъ; это его право, и никогда я не отрицаю его въ художникѣ. Но у Алданова прорывается тенденціозность иронически-легкая, не глубокая, примитивная; освѣщеніе историческихъ фактовъ въ манерѣ журналиста, а не беллетриста. Вдругъ начинается работа бѣлыми нитками; очень тщательная, но самая тщательность возбуждаетъ досаду. Таковъ образъ Екатерины и еще какихъ-то русскихъ персонажей (въ романѣ «Термидоръ»). Да и «смѣшной» Кантъ выписанъ неловко и совсѣмъ не смѣшно. Въ романѣ «Елена маленькій островъ» такихъ срывовъ почти нѣтъ, и вообще этотъ романъ, несмотря на неудачную постройку, тоньше и проще Термидора.

Какого размѣра дистанція отдѣляетъ писателя Алданова отъ другого русскаго писателя — Ивана Шмелева! Именно по противоположности онъ мнѣ здѣсь раньше другихъ и пришелъ на умъ.

Этотъ — старій мой знакомецъ. Въ Россіи онъ пользовался извѣстностью умѣренной, но въ нѣкоторыхъ

кругахъ его любили, особенно послѣ «Человѣка изъ ресторана». Я о немъ собирался писать, но потомъ рѣшилъ выждать дальнѣйшей индивидуализаціи писателя. Во время войны его очерки «Суровые дни» — единственная книга, которую я смогъ прочесть безъ особаго оскорбленія. Съ тѣхъ поръ я не перечитывалъ, но, помнится, въ ней подкунала безхитростная взволнованность души.

Шмелевъ, какъ Бунинъ, весь русскій, съ головы до пятъ. Но у Бунина есть, сверхъ этого, магичность исключительнаго таланта и сдержанность, собранность; онѣ приближаютъ его къ всемірности. Шмелевъ же остается русскимъ, только русскимъ, со всеми русскими и грѣхами, и дарами. Въ слишкомъ-европейцѣ Алдановѣ есть жидковатость; слишкомъ русскій Шмелевъ такъ густъ, что ложка стоитъ, а глотать — иной разъ и подавишься. Чувства мѣры не имѣетъ никакого. По-русски безмѣрное — святое — бурленіе души заставляетъ его забывать и о писательскомъ цѣломудріи, которое въ иныя времена смыкаетъ уста художника. Кипитъ въ сердцѣ, черезъ край хлещетъ, гдѣ тутъ думать о мѣрѣ! Флоберъ, во время войны 70 года, по ночамъ просыпался, сидѣлъ въ подушкахъ, страдалъ и плакалъ, а утромъ, за своимъ столомъ, опять терпѣливо и медленно вѣсилъ, мѣрилъ, точилъ каждую фразу романа, — не могъ иначе. У Шмелева слова не поспѣваютъ — даже не за мыслями его, а за стихійнымъ потокомъ чувствъ. Онъ не властенъ надъ ними, не властенъ и надъ словами: онъ самъ въ потокѣ.

Оттого Шмелевъ, въ Европѣ, и не прошелъ полосы молчанія; какъ Бунинъ и нѣкоторые другіе. Только что его выбросило, послѣ крушенія, на западные берега, какъ онъ издалъ книжку «Это было», повѣсть, съ художественной точки зрѣнія, самую неудачную. Но размѣру она не велика, но кажется неестественно длинной, главнымъ образомъ потому, что безъ разбору вся — въ крикѣ.

Слишкомъ я понимаю вотъ это русское безмѣрное бурленіе, и крикъ сердечный (еще бы! теперь-то!), но какъ же быть? Искусство имѣетъ свой законъ, «его-же не преидеши»: нельзя кричать, все въ ту же силу, все на тѣхъ же высокихъ нотахъ. Кто не хочетъ подчиниться этому закону — тотъ можетъ быть чѣмъ угодно: пророкомъ, святымъ... но только не художникомъ.

Шмелева долженъ любить читатель (русскій), любить именно съ его воплями, съ водопадомъ и гнѣной словъ. Но любовь (да и нелюбовь) передъ судомъ искусства не значить ничего. Флобера, напримѣръ, читатель терпѣть не могъ. И ничего это не доказало. Любовь также еще не ручательство, что путь художника вѣренъ, и Шмелеву не надо это забывать.

Если-бъ у Шмелева не было большого природнаго дара и большихъ возможностей, я бы и не сказалъ о немъ всего, что сказалъ. Похвалилъ бы искользь, или вовсе промолчалъ.

Но природный талантъ, да еще въ соединеніи съ горѣніемъ душевнымъ — рѣдкая цѣнность. Она — обязываетъ. И я считаю себя вправѣ предъявлять къ этому писателю очень строгія требованія. Кому больше дано, съ того больше и спрашивается.

Но «спрашивать» нужно съ толкомъ; со Шмелева требуется одно, а вотъ съ Бориса Зайцева, напримѣръ, совсѣмъ другое. Впрочемъ, съ Зайцева я какъ-то вообще не могу ничего «требовать» (только развѣ «надѣяться» на него): слишкомъ онъ гнѣженъ, тонокъ, такой вѣжливоскользкій, легкій и гнѣвительный. Въ немъ «печаль полей», въ немъ «тихія зори»... «Сердце вѣмѣетъ и лежитъ распростертое...»; «... изъ зеркальныхъ далей, по рѣкѣ, нисходитъ *благословеніе зря...*».

Въ 1907 г. я писалъ о Зайцевѣ, что въ живописно-неподвижномъ творествѣ его почти нѣтъ ощущенія личности, нѣтъ *человѣка*. Есть послѣдовательно: хаосъ, стихія, земля, тварь, толпа... А *человѣка* еще нѣтъ.

Есть дыханіе, но это дыханіе космоса, точно вся земная грудь подымается. Нѣтъ лика — нѣтъ лица...

Да, нѣту; герои его рассказовъ — «зелень полей», «черный обворожительный комъ-земля», вся тварь, «со-вокупно (и покорно) стенающая объ избавленіи»; а герои люди, если искать въ нихъ людей, — кажутся странно-легкими, мерцаютъ, скользятъ... потому что и они — та-же земля, та-же зелень полевая: «не они-ли въ той зелени, и то зеленое не въ нихъ-ли?» говоритъ самъ Зайцевъ.

И лежитъ на страницахъ художника лучъ, не грѣю-щій *человѣческаго* сердца, — лучъ тихой примиренности, — «благословенія горя».

Читая Зайцева, грустишь, — но ждешь... писалъ я въ тѣ годы. Рожденія человѣка ждешь, конечно. И теперь — съ ещеболѣе нетерпѣливой надеждой, чѣмъ тогда (я ужъ ска-заль, — что *требованій* къ Зайцеву предъявлять я не могу). Что же будетъ съ нимъ? Неужели останется онъ въ своемъ очарованномъ кругу печали, среди скользящихъ при-зраковъ и *теперь*, послѣ страшныхъ лѣтъ борьбы Без-личнаго съ Личностью? Неужели не обратится прими-ренность его — въ непримиримость, и не откроетъ ему *человѣка* безмѣрность горя, которое уже нельзя «благословить»?

III

Я вижу, что поставилъ себѣ неисполнимую задачу, — въ рамкахъ этой одной статьи, по крайней мѣрѣ. Слиш-комъ богата наша «европейская» литература, слишкомъ много здѣсь писателей. Почти каждому хочется, — и нужно, — взглянуть въ лицо послѣ страшнаго перерыва. А я едва успѣлъ отмѣтить и первыхъ! Основательно очистили Россію, поработали таки надъ «изытіемъ цѣн-ностей».

Довели чистоту до того, что наконецъ и сами «изыя-тели» потянулись въ Европу. Скучно, должно быть, стало.

Непривычно. Говорить о нихъ не буду, «щѣнностей» между ними очевидно нѣтъ, — скажу лишь объ одномъ усердномъ «изъятелѣ» — Максимѣ Горькомъ.

Цѣну этого большого, недурно поддѣланнаго, сердолика я опредѣлилъ лѣтъ 20 тому назадъ; отмѣтилъ и время; когда онъ окончательно треснулъ. Говорить, значитъ, о Горькомъ, какъ о писателѣ, мнѣ трудно, но мало того: о немъ и вообще трудно говорить лишь какъ о писателѣ, почти невозможно. Чтобы понятно было, *почему* трудно, я позволю себѣ привести маленькій отрывокъ изъ моей статьи 1904 года, которую здѣсь нашьемъ и самъ удивился ея точности. Въ 1904 году, дома, я былъ свободенъ, могъ говорить о комъ хочу, что хочу, и вотъ что я говорилъ.

«... М. Горькій, какъ художникъ, если и расцвѣталь для кого-нибудь, — отцвѣлъ, забыть. Его не видать, на него и не смотреть. Горькій — *писатель* давно заслоненъ *дѣятелемъ* — Горькимъ...». «Потерявшіе, въ огнѣ общественныхъ страстей, всякое понятіе о литературной перспективѣ, наши критики еще кричатъ, по привычкѣ: Горькій и Толстой! Горькій и Гете!...» «но «горькиада» не литературная эпоха. Горькій — *пророкъ* нашего злополучнаго времени. И важна его *проповѣдь*, его и его учениковъ, а не ихъ художественныя произведенія...». «Всякая проповѣдь судится въ своихъ крайнихъ точкахъ. Къ чему-же ведетъ проповѣдь Горькаго, если идти до конца?» «Она исторически необходима, но убійственна для появившихъ въ ея полосу. Она освобождаетъ человѣка отъ всего, что онъ имѣеть и когда либо имѣлъ: отъ любви, отъ нравственности, отъ имущества, отъ знанія, отъ красоты, отъ долга, отъ семьи, отъ всякаго помышленія о Богѣ, отъ всякой надежды, отъ всякаго страха, отъ всякаго духовнаго или тѣлеснаго устремленія и, наконецъ, отъ всякой воли, — она не освобождаетъ лишь отъ *инстинкта жить*...». «Что это? Звѣрство? Врядъ-ли. Отъ звѣря — потенція движенія вверхъ. Здѣсь-же, въ исторіи, уже

поднявшись вверх, волна упала... отъ человѣка — во что-то конечное, слѣпое, глухое, нѣмое, только мычащее и смердящее...»*) .

Если уже тогда, 20 лѣтъ лѣтъ тому назадъ, Горькій былъ «проповѣдникъ», а не писатель, и если таковы «конечныя точки, послѣдняя цѣль» этой проповѣди (а время, какъ будто, наглядное намъ дало подтверженіе, неправда ли?) — то не дико-ли миѣ вдругъ взять да и заговорить сейчасъ о его «художественныхъ произведеніяхъ»? Не понятно ли все само собою? И не лучше-ли), если ужъ нельзя рассказать, какъ этотъ удачный проповѣдникъ, по достиженіи цѣли, помогаль «изъятію» всяческихъ цѣнностей, не лучше ли было бы вовсе о немъ молчать?

Пожалуй. Вотъ только одно еще: почему Горькій потянулся въ Европу? Ему-ли въ Россіи скучать? Многолѣтніе труды увѣнчались полнымъ успѣхомъ. Писать — просторно, нельзя просторнѣе. Никакой помѣхи въ Россіи, только почетъ и поощреніе. Казалось бы: живи и будь счастливъ.

Такъ вотъ нѣтъ. Дѣло въ томъ, что Горькій отравленъ тайной, вполне безнадежной, любовью, которая, какъ змѣя, источила всю его жизнь. На зарѣ туманной юности онъ влюбился... въ «культуру».

Ужаснѣе этого съ нимъ ничего не могло случиться.

Повторилась; и до сихъ поръ повторяется, вотъ эта проклятая исторія:

Онъ былъ титулярный совѣтникъ,
Она генеральская дочь.
Онъ ей въ любви изъяснялся,
Она прогнала его прочь.

Что-же Горькій? Извѣстно, что:

*) «Лит. Дневникъ» стр. 181.

Пошелъ титулярный совѣтникъ
И пьянствовалъ съ горя всю ночь.
И въ винномъ туманѣ носилась
Предъ нимъ генеральская дочь.

Какъ въ Нитшевскихъ «вѣчныхъ повтореніяхъ» кружится Горькій, съ тѣми варіаціями, что послѣ очередного выгона погружается въ пьянство не отъ вина, а отъ бѣшенства. Въ такіи «ночи» онъ не шадитъ свою неясную, недостижимую возлюбленную; тутъ-то онъ «по-русски» позорилъ Америку и «плевалъ въ лицо прекрасной Франціи». Но плюетъ и позорить — не вѣреть; онъ не излеченъ; все равно, во всякомъ туманѣ, носится

Предъ нимъ генеральская дочь.

Не будемъ-же строги къ титулярному совѣтнику. Можетъ быть даже «изъятеlemъ-то», да и проповѣдникомъ разрушенія, помощникомъ разрушителей, сталъ онъ, благодаря этой роковой своей страсти. Любовь къ «культурѣ» *при полной къ ней неспособности* — недугъ, выѣдающій, сжигающій не только талантъ писательскій, но и душу человѣческую.

Горькій уѣдетъ домой, въ «чистое» свое мѣсто, но оиять пріѣдетъ въ Европу, чтобы снова уѣхать. И такъ будетъ продолжаться, пока онъ живъ. И ничего не измѣнится.

Дальнѣйшія его литературныя произведенія намъ безразличны. Они тоже не измѣнятся. Вѣдь катастрофа, постигшая русскихъ писателей, русскую литературу, не могла на него никакъ повліять, — просто потому, что *для него* ея не было.

Объ этой катастрофѣ еще нѣсколько словъ — съ другой точки зрѣнія.

Имѣли-ли мы, русскіе, хоть приблизительное представленіе, въ какой степени наша литература неизвѣстна Европѣ? Просто не знакома, — никто не смотрѣлъ, никто не видалъ; и знакомиться съ ней европейцамъ очень

тяжело. Не въ нихъ, и не въ насъ вина (если есть вина); должно быть самый духъ нашъ труденъ для воспріятія.

Прежде мы какъ-то объ этомъ не думали, и мало заботились; теперь, выброшенные изъ Россіи, мы лбами столкнулись съ иностранцами. Мы поневолѣ ищемъ хоть какого нибудь своего мѣста на чужой землѣ. И писатели, прежде даже чѣмъ собрались съ силами для новой работы, стали пытаться издавать русскія свои книги на иностранныхъ языкахъ.

Не буду входить въ подробности этихъ опытовъ, коснусь только первыхъ итоговъ. Они грустны; но тѣмъ болѣе виноваты мы будемъ, если придемъ въ уныніе и прекратимъ работу сближенія съ европейцами и усилія дать имъ о насъ понятіе. Пусть они насъ судятъ, пусть даже осудятъ, но пусть хоть какъ нибудь въ нашей литературѣ разбираются.

Теперь знаютъ они о насъ плачевно мало (говорю преимущественно о Франціи, гдѣ живу). Для нихъ есть какая-то общая «*âme russe*», въ которой они отчета себѣ не отдаютъ, да и смотреть въ пол-глаза; кромѣ того, есть, въ смыслѣ интереса, «экзотика».

Таковъ, въ грубыхъ чертахъ, рисунокъ европейскаго отношенія къ русской литературѣ, да и вообще къ русскому искусству, (къ русскому балету, музыкантамъ, художникамъ — преимущественно интересъ «экзотики»).

Если наши писатели, всей кучей вытряхнутые въ Европу, сами еще перепутаны, какъ шахматы въ ящикѣ, то для иностранцевъ они даже не шахматы, а просто шашки, всѣ одинаковыя. Они ихъ искренно не различаютъ, — да и откуда имъ знать, дѣйствительно, гдѣ конь, гдѣ ферзь, гдѣ пѣшка? Узнавать — долгая, трудная исторія. И они подходятъ къ намъ съ привычнымъ критеріемъ — «экзотики».

«Деревня» Бунина? вещь удивительная! прекрасная! высоко интересная! (французы специально такъ воспитаны, чтобы не скупиться на похвалы, разъ ужъ они о комъ

нибудь говорить); не менѣе однако любопытна! интересна! и т. д. (экзотична) и книга, положимъ, Гребенщикова о «сибирскихъ» мужикахъ. Любезные французы даже и не подозрѣваютъ, что, если Бунинъ чистѣйшаго огня рубинъ, то Гребенщиковъ — дай Богъ съ рѣчного берега камушекъ; что дома, на родной шахматной доскѣ; Бунинъ стоялъ рядомъ съ ферязью, а Гребенщикова на этой доскѣ, пожалуй, и вовсе не бывало.

Я привелъ примѣръ насчетъ Гребенщикова, этого сѣраго повѣствователя-этнографа, какъ первый попавшійся. Такихъ примѣровъ сколько угодно. Вотъ «Суламифъ» Куприна. Аляповатая вещь, олеографія, малодостойная таланта этого писателя (о немъ теперешнемъ, о немъ «въ Европѣ», я, при случаѣ, еще поговорю). Но «Суламифъ» нравится; — въ ней двойная экзотика, и русская, и восточная. Нравится среднее, конечно, въ мѣру интереса къ экзотикѣ, хотя любезность и требуетъ отъ француза расшаркнуться: «это перлъ!».

Но, повторяю, писателямъ нашимъ нечего смущаться. Принимать, понимать данное, и — упорно итти впередъ. Авось доживемъ и до перваго *строгаго* слова иностранца, до перваго знака, что Европа литературную Россію глубже шкурки увидала.

Съ этой стороны катастрофа наша можетъ оказаться благотвѣтельной. Какъ ни какъ — есть-же въ русской литературѣ нѣкій духъ, отъ проникновенія въ который Европа не только не проиграетъ, а пожалуй выиграетъ: омолодится.

Да и нашимъ писателямъ это сближеніе не къ худу. И у стараго Запада есть чему поучиться. Выбросили литературу за окно, окно захлопнули. Ничего. Откроются когданибудь двери въ Россію; и литература вернется туда, Богъ дастъ, съ большимъ, чѣмъ прежде, сознаниемъ всемирности.

Антонъ Крайній